

## Степан Писахов. Морожены песни

### ОТ АВТОРА

Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.

Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.

В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит:

— Други-товарищи, спите ли? Кто-нибудь сонным голосом отзовется:

— Нет, еще не спим, сказывай.

Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса не подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки.

Я не застал деда Леонтия и не слышал его сказок.

С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:

— Какой ты горячий, тебя тронуть — руки обожжешь. Девушка, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:

— Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь! При встрече старуха спросила:

— Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть? Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост:

Ведь рифмы запросто со мной живут,  
Две придут сами, третью приведут.

Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Много помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске.

Секрет не велик. Я сказал: — С 1879 года.

— Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске? Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе.

Я в тон заезжему дал ответ:

— Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к.

Народ ютился кругом столба.

Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал...

Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.

Оставил я заезжего додумывать, каким был город без домов.

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» напечатана на моя первая сказка «Не люблю — не слушаю. Морожены песни».

С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как

собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году.

Чтя память безвестных северных сказителей — моих сородичей и земляков, — я свои сказки веду от имени Сени Малины.

Ст. ПИСАХОВ

### Не любо-не слушай...

Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.

Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.

Кругом все свои — земляки, соврать не дадут.

К примеру, Двина — в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Лдины с моря гонят да дают в прокат, кому желательно.

Запасливы стары старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколь годов держится прорубь!

Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребницу затаскивали — квас, пиво студили.

В стары годы девкам в придано давали перьвым делом — вечну льдину, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.

Летом к нам много народа приезжат. Вот придут к леденику да торговаться учнут, чтобы дал льдину полутче, а взял по три копейки с человека, а трамвай пятнадцать копеек.

Ну, леденик ничего, для виду согласен. Подсунет дохлу льдину — стару, иглисту, чуть живу (лдины хошь и вечны, да и им век приходит).

Ну, приезжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы, песню заведут, а робята уж караулят (на то дельны, не первоучебны). Крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнет. Приезжи завизжат: "Ой, тонем, ой, спасайте!"

Ну, робята сейчас подъедут на крепких льдинах, обступят.

— По целковому с рыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим!

А мишки с моржами, вроде как на жалованье али на поденшшине, — свое дело знают. Уж и плывут. Ну, приезжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся.

А мы сами-то хорошей компанией найдем льдину, сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше ста — и не возьмем. Коли сотни нет — значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим да вертим кругом, чтобы не загореть. У нас летом солнце-то не закатывается: ему на одном-то месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки разов пятьдесят обернется, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят. Ну, коли дождь да мокреть, дак отдохат, стоит.

А на том берегу всяка благодать, всяческо благорастворение! Морошка растет большущими кустами, крупна, ягоды по фунту и боле, и всяка друга ягода.

Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают да днишша заколачивают. А котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется. Семга да палтусина ловчей всех рыб в пирог заворачиваются. Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают.

Белы медведи молоком торгуют (приучены). Белы медвежата семечками да папиросами промышляют. И птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.

Пингвины у нас хоша не водятся, но приезжают на заработки — с шарманкой ходят да с бубном. А новы обезьяной одеваются, всяки штуки представляют, им и не пристало одеваться обезьяной, — ноги коротки, ну, да мы не привередливы, нам хошь и не всамоделишна обезьяна, лишь бы смешно было.

А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да ишшо вприсядку пустятся — ну, до уморения. А моржи да тюлени с нерпами у берега в

воды хлюпают да поуркивают-музыку делают по своей вере.

А робята поймают кита, али двух, привяжут к берегу да и заставят для прохладения воздуха воду столбом пушшать.

А бурым медведям ход настрого запрещен.

По зажилью столбы понаставлены и надписи на них: "Бурым медведям ходу нет".

Раз вез мужик муки мешок: это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу.

Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Сташшил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло; он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, аль кислыми штями, а потом, думат, разживется и самогоном торговать начнет. Да его узнали. Что смеху-то было! В воде выкупали! Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город погнали. За Уймой медведь заплакал. Ну, у нас народ добрый: ему вязку калачей, сахару полпуда да велели в праздники за шаньгами приходить.

## Северно сияние

Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим. День работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет теряют. Да летом и не под нужду. А к темному времени опять отживается.

А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открыть нельзя: мороз градусов триста! А возьмешь северно сияние, теплой водичкой смочишь и зажгешь. И светло так горит, и воздух очишшат, и пахнет хорошо, как бы сосной, похоже на ландыш.

Девки у нас модницы, маловодны, северно сияние в косы носят-как месяц светит. Да ишшо из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!

Про наших девок в песнях пели:

У зори у зореньки  
Много ясных звезд,  
А в деревне Уйме им и счету нет!

Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.

## Звездной дождь

По осени звездной дождь бывает. Как только он зачастит, мы его собираем, стараемся.

Чашки, поварешки, ушаты, крынки, латки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходящую посуду выташшим под звездной дождь. Дождь в посудах устоится, свет уgomонится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.

Пиво тако крепко живет! Мы этим пивом добрых людей угошшам во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом бывало, так звезданем, что от нас кубарем катятся.

Нас-то самих это пиво и веселит и молодит; У нас кто часто пьет, лет до двести живет.

Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: ведь кругом народ знающий, свой, соврать не дадут; у нас так и зовется: "Не любо — не слушай".

## Как уйма выстроилась

Был я в лесу в самую ранну рань, день только начинался. И дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.

Это друг-приятель мой дождь урожайной хорошего утра проспать не хотел.

Дождик урожайной, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топоришшем в землю. И-и, как выхвостнулся топор!

Топоришше тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топоришше во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.

Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать. Понапрасну время не терят.

Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новорублены рядами выстаивают. Избы с резными крылечками и с поветями. У каждой избы для колодца сруб и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули — приучаются тепло беречь.

Я под избенны углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места сшевелил.

Домов-обнов длинной черед покатился к нашей деревне.

Наша деревня до той поры была мала — домишков ряд был коротенькой и звалась не по-теперешнему.

Как новы дома заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.

С того часу и деревню нашу стали звать Уймой.

Только вот мы, живя в близности друг с дружкой, привыкли гоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах — где на перьвой зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.

Народ у нас уважительной: по перьвому зову — идут, по перьвому слову — за стол садятся, по перьвому угошшенью — выпивают.

В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день до конца не дойдешь. Мы уж хотели железу дорогу прокладывать — в гости ездить (трамвая в те поры ишшо не знали).

Для железной дороги у нас железа мало было.

Дело известно: при хотенье будет и уменье.

Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхней конец уцепимся, пружину нагнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись — и лети, куда себя нацелил: до середины деревни или до самого конца.

Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.

Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любитесь. Сама себя показыват, стоит красуется.

А топор работает без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то новой заказ дал: через речки мосты починить, по болотам переходы досчаты перекинуть. Да как завсегда в старо время хорошему делу полицейской да чиновник помешали.

Полицейской с чиновником проезжали лесом, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся. Ох, в каку ярость вошли и полицейской и чиновник!.. Лесинку-топоришше сломали, на куски приломали и спохватились:

— Ахти да ахти! Мы поторопились, недосмотрели, с чего началось, от кого повелось, кого штрафовать и сколько взять!

Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской.

Так чиновники и полицейский до самого последнего своего времени остались неотесанными.

## Морожены песни

А то ишшо вот песни.

Все говорят: "В Москву за песнями". Это так зря говорят. Сколь в Москву ни ездят, а песен не привозили ни разу.

А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.

Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали. Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.

А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не очень верим.

Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.

А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху бывает и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которы крепки слова, те в прорубь бросаю. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.

Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана, — идешь и спотыкаешься. А нова улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело. Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано. Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).

— Ты это что, — кричит Анисья, — курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу! И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала, — прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!

А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажала, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.

— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дожждаться — оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, наскрозь прошибет.

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу, — просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны, — каки ни на есть бабушки, матери-потаковшицы подол на голову накинута от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блещут, звенят. Которы робята окомы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: "Милый, приходи, любый, заглядывай".

Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоят. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!

Как-то шел заморской купец (зиму у нас проводил торговым делам), а известно-купцам



до всего дело есть всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшение — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:

— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена. — Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну-в него швырять. Купец спрашивает того, кто с ним шел:

— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» по полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен наказыывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.

Вот и стали девкам песни заказывать да в особый ящик складывать, таки термоящики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы. В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.

Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: "Ишшо, ишшо". Да ведь слово — не воробей: выпустишь — не поймашь, а песня что соловей: прозвенит — и вся тут. К нам шлют письма, депеши: "Пойте песен больше, заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!)"

А сватьяна свекровка, — ну, та самая, котора отругиваться бегала, — в песни втянулась. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет; как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да бральянты самоцветы, внучкино вторенье — как изумруды. Столь антиресно, что уж думали в музей сдать на полюбованье. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто и каждый норовил свое сморозить, а покупали что приезжи сморозят — будто привозно лутче.

Ну бабкину песню в термоящик.

Девки поют, бабы поют, старухи поют. В кузницах стукоток стоит — термоящики скрлачивают.

На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили:

— Бабы, зарабатывайте больше. Надоели железны крыши в них и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделам из серебра и позолоченны. Бабы не спорят:

— Нам английских денег не жаль... Мужики выпрямились, бородами тряхнули:

— Вы это, бабы, для кого песни поете? Дайко-се мы их разуважим, «почтение» окажем.

Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было! И одно другого крепче.

Для тех песен особенны ящики делали. И таки большушши что едва в улицы проворачивали.

К весне мороженных песен кучи наклали.

Заморски купцы снова приехали. Деньги платят, ящики таскают, грузят да и говорят: "Что порато тяжелы сей год песни?"

Мужики бородачи рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с уважением, значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда очень уважам. Как к слову приведется, каждой раз говорим: "Кабы им ни дна ни покрывки!" Это по-вашему значит — всего хорошего желам. И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение. Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труб не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли.

Поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла.

Домой приехали, сейчас — афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве: песни с весом! Король и королева ночь не спали, с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.

Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.

Вот ящики наставили, раскупорили все разом. Ждут.

Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и почали обкладывавать.

На что заморски купцы нашему языку не обучены, а поняли!

## Баня в море

В бывалошно время я на бане в море вышел. Время пришло в море за рыбой идти. Все товарищи, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убежался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слышал.

Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.

Я не долго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу ткнул жердину с половиком; вышла настояща мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пар нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами по воде вавилоны развела!

У бани всякой угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.

Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углями воду за версту зараскидывала, небывалошну-невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокойе, берега киснут. А по середке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.

Тут до кого хошь доведись — переполошится! Со стороны глядеть — похоже и на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.

Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы, рыбы к бане со всех сторон заторопились.

А мы промышляем.

С судов промышляют по-обнакновенному, как раньше заведено. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному, шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут- и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полук немного накладешь!

Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить, я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, Другое подходит. На место полного. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми венниками хвошшется, от рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготней.

Чтобы дым позанапрасно не пропадал, у трубы коптильню завели, это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.

В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил.

Судно — не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь.

Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.

К дому поворотились гружены суда. Тут и я с баней расстался, за дверну ручку попроштался, впредь гостить обещался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить, мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морскую воду да на рассоле закисло и тестяной дорожкой стала.

За нами следом зима стукнула, вода застыла. И от самой нашей Уймы до середины моря, до бани, значит, ровненька да гладенька дорожка смерзлась.

Мы в ту зиму на коньках по морю в баню бегали. Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, как Мамаевы полчища. Мы в баню идем — невода закидываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, — невода полнехоньки рыбы на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахиваем, показываем, куда нам поветерь нужна.

У нас в банных вениках пар не остывал, вот сколь скоро домой доставлялись!

Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить.

С того разу и повелись зимны рыбны промыслы.

Весной лед мякнуть стал, рыбы стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становишсам, хорошему народу на пользу. К той поры тесто в полную пору выходило, по морю шло, а это не ближней конец. Промышленники тесто из воды в печки лопатами закидывали, которой кусок пекся караваем, а которой рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала.

Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.

Коли не веришь, так съешь трески, хотя одну трешину фунтов хотя бы на десяток. Вот тогда чаю захочешь и мне верить будешь.

Баня по середине моря осталась и не понимает, в толк не берет, что мы к ней дорогу потеряли, сама в себе жар раздувала, пар поддавала и в такую силу, что наше море студено теплеть стало.

Вот этому придется поверить! Спроси у нас хошь старого, хошь малого — всяк одно скажет, что за последние годы у нас зимы короче стали и морозы легче пошли. Все это моя баня своим теплом сделала.

### **Уйма в город на свадьбу пошла**

Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит — зачем выдумываю.

А ежели выдумка — правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, дак верней жониной правды.

К примеру хошь: стоит вот дом, в котором живу, в котором сейчас сижу.

По-еённому, по-жонинному, дом на четвереньках стоит, — на четырех углах. А по моему — это уж выдумка. Мой дом ковды как выстанет, и все по-разному.

В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки шутки выделывать: и так и сяк повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбается.

Коли в дом глазами впришься, то он стоять будет как истукан, не шевельнется, только крыша на солнце зарумянится. Глядеть надо вполглаза, как бы ненароком.

Да что дом! Баня у меня и вся-то никудашна, скособочилась, как старуха, да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно — у бани весь перед от дыму закоптел.

Вот и было единово это дело: глянул я на баню вполглаза а баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком трянула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась и пошла!

Я рот разинул от экой небывалости, в баню глазами уставился, — баня хошь бы что: банным полком скрипнула да мимо меня ходом.

Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.

Ну, тут и меня надо. Скочил на овин и поехал!

А за мной и дом со свай сдвинулся, охнул, повестью, как подолом, махнул, поразмялся



на месте — и за мной.

По дороге как гулянка кака невиданна. Оно, может быть, и не первой раз дело эко, да я-то впервой увидал.

Домы степенно идут, не качаются, для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы — сарафанны подолы на гулянке. Которы дома крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.

— Эй вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?

Домы дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:

— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем.

В городе нас дожидались. Невеста — соборна колокольня — вся в пыли, как в кисейном платье, голова золочена — блестит кокошником.

Мучной лабаз — сват в удовольствии от невестиного наряду:

— Ах, сколь разнарядно! И пыль-то стародавня. Ежели эту пыль да в нос пустишь — всяк зачихат.

Это слово сватово на издевку похоже: невеста — перестарок, не перву сотню стоит да на постройку заглядываться.

Сам сват — мучной лабаз подскочил, пыль пустил тучей.

Городски гости расфуфырены, каменны дома с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важны гости расчихались, мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выставили — и как раз в пору.

Пришел жоних — пожарна каланча, весь обшоркан. Щикатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи поприпрятал, наверху пожарный: ходит, как перо на шляпе.

Пришли и гости жениховы — фонарны столбы, непогашенными ланпами коптят, думают блеском-светом удивить. Да куды там фонариному свету супротив бела дня, а фонарям сухопарым супротив нашей дородности. Тут тако вышло, что свадьба чуть не расстроилась ведь.

Большой колокол проспал: дело свадебно, он все дни пил да раскачивался — глаза не вовсе открыл, атак вполпросыпа похмельным голосом рявкнул:

*По-чем треска?*

*По-чем треска?*

Малы колокола ночь не спали — тоже гуляли всю ночь — цену трески не вызнали, наобум затараторили:

*Две ко-ней-ки с по-ло-ви-ной!*

*Две ко-ней-ки с по-ло-ви-ной!*

На рынке у Никольской церкви колоколишки — робята-озорники цену трески знали, они и рванули:

*Врешь, врешь — полторы!*

*Врешь, врешь — полторы!*

Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся:

*Пусть молчат!*

*Не кричат!*

*Их убрать!*

*Их убрать!*

Хорошо еще други соборны колокола остроглазы были, наши приносы-подарки давно высмотрели и завывевали:

*К нам! К нам!  
С тивом к нам!  
К нам! К нам!  
С брагой к нам!  
К нам! К нам!  
С водкой к нам!  
К нам! К нам!  
С чаркой к нам!  
К нам! К нам!*

Невеста — соборна колокольня ограду, как подол, за собой потащила. Жоних — пожарна каланча фонарями обставился да кой-кому из гостей фонари наставил. И пошли жоних и невеста круг собору.

Что тут началось, повелось! Кто «Во лузях» поет, кто «Ах вы, сени, мои сени». Колокола пляс вызванивают. Все поют вперегонки и без удержу. Время пришло полному дню быть, городскому на роду жить пора.

А дома-то все пьяным-пьяны, от круженья на месте свои места позабыли и кто на какой улице стоит, не знают. Тут пошла кутерьма, улицы с задворками переплелись!

Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знают, как идтить. Тудую, суюдоу али етойдоу?

Мы, уемски, домой весело шли. По дороге кто вдоль, кто поперек останавливались, дух переводили да отдыхали.

В ту пору ни конному, ни пешему пути не было.

Я на овине выехал, на овине и в Уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит. Баня в свое гнездо за огородом ткнулась — спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул, узнать, как жона — заприметила ли, что в городе с домом была?

А жона-то моя, пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила, себе обнов накупила, в новы обновы вырядилась, перед зеркалом поворачивается, на себя любится. И я засмотрелся, залюбовался и говорю:

— Сколь хороша ты, жонушка, как из орешка ядрышко!

Жона мне в ответ сказала:

— Вот этому твоему сказу, муженек, я верю!

### Из-за блохи

В наших местах болота больши, топки, а ягодны. За болотами ягод больше того, и грибов там, кабы дорога проезжа была, — возами возили бы.

Одна болотина верст на пятьдесят будет. По болотине досточки настелены концом на конец, досточка на досточку. На эти досточки надо ступать с опаской, а я, чтобы других опередить да по ту сторону болота первому быть, безо всякой бережности скочил на досточку.

Каак доска-то выгалила! Да не одна, а все пятьдесят верст вызнялись стойком над болотиной-трясиной.

Что тут делать?

Топнуть в болоте нет охоты, — полез вверх, избоченился на манер крюка и иду.

Вылез наверх. Вот просторно! И видать ясно. Не в пример ясней, чем внизу на земле.

А до земли считать надо пятьдесят верст.

Смотрю — мой дом стоит, как на ладошке видать. До дому пятнадцать верст. Это уж по земле.

Да, дом стоит. На крыльце кот дремлет-сидит, у кота на носу блоха.

До чего явственно все видно.

Сидит блоха и левой лапкой в носу ковыряет, а правой бок чешет. Тако зло меня взяло, я блохе пальцем погрозил, а блоха подмигнула да ухмыльнулась: дескать — достань! Вот не знал, что блохи подмигивать да ухмыляться умеют.

Ну, кабы я ближе был, у меня с блохами разговор короткой — раз, и все.

Тут кот чихнул.

Блоха стукнулась об крыльцо, да теменем, и чувствий лишилась. Наскакали блохи, больну увели.

А пока я ахал да руками махал, доски-то раскачались, да шибко сильно.

"Ахти, — думаю, — из-за блохи в болоте топнуть обидно".

А уцепиться не за что.

Вижу — мимо туча идет и близко над головой, да рукой де достать.

Схватил веревку, — у меня завсегда с собой веревка прозапас; петлю сделал да на тучу накинул. Притянул к себе. Сел и поехал верхом на туче!

Хорошо, мягко сидеть.

Туча до деревни дошла, над деревней пошла.

Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемша росла. Слободным концом веревки за черемшу зацепил. Подтянулся. Тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячу воду, другой край — в кадку для холодной воды, окачиваться, а остатну тучу отпустил в знак благодарения.

Туча хорошее обхождение помнит. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала теплым дождичком.

## Сахарна редька

Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее есть.

Ели редьку кусками, редьку ломтями, редьку с солью, редьку голью, редьку с квасом, редьку с маслом, редьку мочену, редьку сушену, редьку с хлебом, редьку терту, редьку маком, редьку так!

Из редьки кисель варили.

С редькой чай пили.

Вот приехала к нам городская кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила — только кофей и первые восемнадцать чашек без сахара. А как редьку попробовала, дак и первые восемнадцать, и вторые восемнадцать. и дальше — все с редькой.

А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели и так заболели, что свету невзвидел! По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго этажа, в горнице по полу катался.

Не помогло.

Побежал к железной дороге, на станцию.

Поезд стоял.

Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел привязаться к последнему вагону, да там кондуктор стоял.

Вот поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел.

Поезд шибче, я — бегом. Поезд полным ходом. Я упал да за землю ухватился.

И знаешь что?

Два вагона оторвало!

"Ох, — думаю, — оштрафуют, да ишшо засудят".

В те поры, в старо-то время, нашему брату хошь прав, хошь не прав — плати.

Я разбежался, в вагоны толкнулся да так поддал, что вагоны догнали-таки поезд и у самой-то станции, где им отцепляться надобно.

Покеда бегал да вагоны толкал, — зубна боль у меня из ума выпала, зубы и болеть перестали.

Домой воротился, а кума Рукавичка с женой все ишшо кофей с редькой пьют.

Держал на уме спросить: "Кольку чашку, кумушка, пьешь, да куды в тебе лезет? " Да язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:

— Я от компании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.

## Белуха

Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем.

Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался, — нет, другу белуху, которая зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму камбалу и в свойстве.

Дак вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товарищи-артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должен артели знать дать.

Без дела сидеть нельзя, это городски жители бывалошны без дела много сживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: "Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум впору!"

Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.

Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.

Море взбелилось!

Белуха пришла, играт, белы спины выставляют, хвостами фигурными вертит.

Я в становишше шапкой помахал, товарищам-промышленникам знать дал. Гарпуном в белушьего вожак запустил — и попал. Рванулся белуший вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я ведь мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться, а на глубе-то я только отфыркнулся.

Все белушье стадо поворотило в море в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.

Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чашше взглядывай, плыви не плыви — чашше над водой выскакивай!

Я плыву, я выскакиваю, да над водой спину выгинаю.

Все белы, я один черной. Я нижню белье с себя стащил, поверх верхней одежды натянул. Тут-то я по виду заправдашной белухой стал, то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, дак у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше: белухи — пудов на семьдесят, а я своего весу.

Пока я белушьи фасоны выделявал, мы уж много дал захватили, берег краешком чуть темнел.

Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошно время. Они вороваты да увертливы.

Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут да на гарпун подцепят.

Я кинул в вожак запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов правлю на мелко место. Мы-то, белушье стадо проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.

Я шни-вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег

на воду.

Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чайчьих крыл узорочье осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал.

И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!

Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становищу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам:

"Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать".

Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед самыми нами на мели сидят.

Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывалошно начальство, всяки чиновники — умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили-едва ноги тянули, все начальство отымало.

Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходящей, дак иностранцам и охоть не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хошь угожденье иностранцам делали.

Иностранцы с судов голоса, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.

А чтобы не налетел чиновник по чужим делам, — сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам, — да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.

Мы море раскачали! Рубахами да шапками махали-махали. Море сморщилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и иностранны суда смыла, как слизнула с мели. Иностранцы обрадели, что от ответу избавились, нам кричат:

— Русиш бра, много бра!

Это значит: русски добры, очень добры.

Мы им в ответ свое слово:

— Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы!

Промысел у нас остался богатой. Перво дело — я стадо пригнал, второ дело — иностранцы нам наловили. В бывалошно время начальство нам не позволяло иметь настояшно приспособление для промыслу, как у иностранцев.

## Из болота выстрелился

Пошел я на охоту.

Пошел на новы места. У нас нехоженных мест непочатый край, за болотами, за топями нетоптаного места по сю пору много живет.

Охота дело заманчиво: и манит, и зовет, и ведет. Стал уставать, перестал шагать остановился и заоседал на месте. Оглянулся, а я в трясину вперся. Стих, чтобы далеко не угрузнуть. Вытащил телефонную трубку да к приятелю медведю позвонил:

— Мишенька, выручай!

Медведь на ответ время тратить не стал, к краю трясины прибежал, головой повертел и лапу вытянул. Дело понятно: велит веревку на лапу накинуть, он тогда вытащит.

Веревка у меня завсегда с собой. Петлю сделал, размахнулся и накинул на медвежью лапу.

Я веревкой размахнулся, пошевелился и глубже в болото провалился. Медведь тянет, тянет, а меня и с места стронуть не может.

Решил я выстрелиться из болотной трясины. Ружье у меня было не тако, как у всех, а особенно, вытяжно. Ежели по деревне иду или дома держу, то ствол как и у всех такой же длины, а в нужну минуту его тянуть можно. Я вытянул ствол на весь запас — сажени две с аршином да приклад аршин пять.



Зарядил, а дуло сверху крепко заткнул, чтобы пуля одна не улетела, чтобы меня в болоте тонуть не оставила. Выпалил.

К-а-а-к дернуло!

Меня из болота выстрелило! Да не одного, а вместе с медведем. Я медведя отвязать позабыл. Один конец веревки петлей на медведевой лапе, а другой круг меня охвачен.

Взвились мы с приятелем Мишенькой стрельным летом. А гуси, утки крылами хлещут, а дела не понимают и не сторонятся.

Я стрельно лечу, значит, куда хочу, туда и целю, туда ружьем и правлю. И без промаху. Я в гусей, я в уток и на длинно ружье наловил, нацепил ровно сто, от руки до конца ствола вся сотня уместилась.

Ружье отяготело, пуля лететь устала. В город упали, пуля в ружье, птицы на ружье, я на прикладе и медведь на веревке добавочным грузом. Угодили к самой трамвайной остановке. В пуле лету еще много, она себя в ружье подбрасывает. Ружье подскакивает. Птицы гогочут, крылами хлопают Медведь поуркивает, себя проверят: все ли места живы?

У городских жителей в старое время ум был отбит, они боялись всего, чего не понимали: — Ах, — кричат, — какой страх! Тут, наверно, нечиста сила дела делает!

Кабы ум был — глаз бы руками не захлапывали и поняли бы, в чем дело обстоит.

Разбежались чины и чиновники. Попов из скрытных мест вытащили, велели нечисту силу прогнать.

Попы завопили, кадилами замахали. У попов от страху ноги гнутся, глотки перехватило. Поповско вопенье до медведя и до птиц дошло. А кадильного маханья медведь не стерпел да тако запел, что от попов след простыл, один дух тяжелый остался.

"Ну, думаю, пора домой, а то оглядятся — всю охоту отберут, медведя-приятеля изобидят, меня оштрафовать могут — дико дело не хитро".

Вагон трамвайной подошел. Народ увидел медведя да кучу птиц, крылами на ружье машущих, с криком во все стороны и без оглядки разбежались.

Вагон — не лошадь, медведя не боится, на колесах спокоен, окнами не косится. Мы — медведь, птицы, я — в вагон сели. Я колокольчиком забрякал, медведь песню закрывал.

Поехали. Остановок не признаю, домой торопимся. Полицейски от страху в будки спрятались, а чиновники в бумаги зарылись, как настоящие канцелярски крысы.

Были в городе охотники, веселый народ. Они страхов многих не принимали и на этот раз глаза не прятали, медведя в вагоне углядели и засобирались на охоту. Торопились за медведем, пока далеко не уехал. Хоша охотники без страху, а для пушей храбрости взяли с собой водки по четвертной на рыло да пива по две дюжины добавочно. В вагон засели, пробки вытряхнули и принялись всяк за свой запас. Из горлышков в горла забулькало звонче трамвайного колокольчика!

Охотничий вагон к каждому кабаку приворачивал — так уж приучен, у каждого трактира остановку делал.

Мы с медведем катили прямиком и до места много раньше доехали. Трамвай до нашей деревни не до края доходит. Остановка верстов за шесть.

Выгрузились из вагона. Я птиц кучей склад, медведя сторожем оставил. Сам пошел за подводой.

Пока это я ходил, Карьку запрягал да к месту воротился, а тут ново происшествие.

Приехали охотники. Языками лыка не вяжут, ногами мыслете пишут, руками буди мельничными размахами машут. Ружья наставили и палят во все стороны. Кабы небо было пониже — все бы продырявили.

Устали охотники, на землю кто сел, кто пал. Подняться не могут. У охотников ноги от рук отбились!

Увидал медведь, что народ не обидной, а только себя перегрузили — стал охотников в охапку, в обнимку брать, как малых ребят, и в вагон укладывать. Уложит, руки, ноги поправит, ружье рядом приладит и каждому в руки гуся либо утку положит. А которой охотник потолще, того по пузу погладит, как бы говорит:

— Ишь ты, не медведь, а тоже!

У меня птиц еще полсотни осталось — мне хватит. Медведя до лесу подвез, ему лапу потряс за хорошу канпанью.

Охотники обратно ехали-тряслись, в память пришли. И стали рассказывать, как их медведь обиходил да приголубливал, да как по птице на брата дал. Попы не стерпели, сердито запели:

— Это все сила нечиста наделала,

Гусей и уток не ешьте, а нам отдайте!

Мы покадим, тогда сами съедим!

Охотникам поповски страхи лишни были:

— Мы той нечистой силы бережемся, которая криком пугат да птицу отымат!

## Морожены волки

На что волки вредны животны, а коли к разу придутся, то и волки в пользу живут.

Слушай, как дело вышло из-за медведя.

По осени я медведя заприметил. Я по лесу бродил, а зверь спать валился. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и чуть-чуть-чуть выставился — посматривал.

Медведь это на задни лапы выстал, запотягивался, ну вовсе как наш брат мужик, что на печку али на полати ладится. А мишка и спину и бока чешет и зеват во всю пасточку: ох-ох-охо! Залез в берлогу, ход хворостинками заклал.

Кто не знат, ни в жизнь не сдогадятся.

Я свои приметины поставил и оставил медведя про запас. По зиме охотники наезжают не в редком быванье медведей только подавай.

Вот и зима настала. Я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий?

Иду себе да барыши незаработанны считаю.

Вдруг волки. И много волков.

Волки окружили. Я озяб разом. Мороз был градусов двадцать.

Волки зубами зашшелкали — мороз скочил градусов на сорок. Я подскочил, — а на морозе, сам знашь, скакать легко, — я и скочил аршин на двадцать. А мороз уж за полсотни градусов. Скочил я да за ветку дерева и ухватился.

Я висну, волки скачут, мороз крепчат. Сутки прошли, вторы пошли, по носу слышу — мороз градусов сто!

И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.

Я разгорячился! Я разгорячился! Что-то бок ожгло. Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, — дак вода-то скипела от моей горячности. Я бутылку вытащил, горячего выпил, — ну, тут-то я житель! С горячей водой полдела висеть.

Вторы сутки прошли, и третьи пошли. Мороз градусов на двести с хвостиком. Волки и замерзли.

Сидят с разинутыми пастьями. Я горячу воду допил. И любешенько на землю спустился.

Двух волков на голову шапкой надел, десяток волков на себя навесил вместо шубы, остатных волков к дому приволок. Склал костром под окошком.

И только намерился в избу иттить — слышу, колокольчик тренькат да шаркунки брякают.

Исправник едет!

Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):

— Что это, — кричит, — за поленница? Я объяснил исправнику:

— Так и так, как есть, волки морожены, — и добавил: — Теперича я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.

Исправник моих слов и в рассуждение не берет, волков за хвосты хватат, в сани кидат и счет ведет по-своему:

*В счет подати,  
В счет налогу,  
В счет подушных,  
В счет подворных,  
В счет дымовых,  
В счет кормовых,  
В счет того, сколько с кого!  
Это для начальства,  
Это для меня,  
Это для того-другого,  
Это для пятого-десятого,  
А это про запас!*

И только за последнего волка три копейки швыркнул. Волков-то полсотни было. Куды пойдешь, кому скажешь? Исправников-волков и мороз не брал. В городе исправник пошел лисий хвост подвешивать. И к губернатору, к полицмейстеру, к архиерею и к другим, кто поважней его, исправника. Исправник поклоны отвешиват, ножки сгинат и говорит с ужимкой и самым сахарным голоском:  
— Пожалте волка мороженого под ноги заместо чучела!  
Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и други-прочие сидят-важничают-ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отошли да и ожили! Да начальство — за ноги! Вот начальство взвилось! Видимость важну потеряло и пустилось вскачь и наубег.  
Мы без губернатора, без полицмейстера да без архиерея с полгода жили, — ну, и отдышались малость.

## Налим Малиныч

Было это давно, в старопрежне время. В те поры я не видал, каки таки парады. По зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили. Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался. Я пришел поглядеть.  
Я от толкотни отошел к угору, сел к забору-приздумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно — знаю, что на холосту заряжены.  
Как из пушек грохнули! Меня как подхватило — выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на одном месте, развертело да как трахнуло об лед ногами (хорошо, что не головой). Я лед пробил — и до самого дна дошел.  
Потемень в воде. Свету — что в проруби, да сквозь лед чуть-чуточно сосвечиват.  
Ко дну иду и вижу — рыба всяка спит. Рыбы видимо-невидимо. Чем ниже, тем рыба крупней.  
На самом дне я на матерушного налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим да и спросонок к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима вытащил. На морозном солнышке наскоро пообсох, рыбину под мышку — и прямиком на соборну площадь.  
А тут под раз и подходящей покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигат себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит.  
Я хотел подумать: "Не заводной ли протопоп-то? " Да друго подумал: "Вот покупатель такой, какой надо".  
Зашел протопопу спереду и чинной поклон отвесил.

Увидел протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходящие для меня налимы на уху, печенка на паштет. Неси рыбину за мной.

Протопоп даже шибче ногами шевелить стал. Дома за налима мне рупь дал и велел протопопихе налима в кладовку с нести.

Налим в окошечко выскользнул — и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел и говорит:

— Как бы ишло таку налимину, дак как раз в мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла налима. Налим тем же ходом в окошечко, да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собаку. Налим хвостом отталкивается, припрыгивает-бежит.

На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что налимом не рыба, а есть собака охотничья.

Ну, мы и пешком до дому доставились.

Дома в собачью конуру я поставил старую квашню с водой и налима туда пустил. На калитку записку налепил: "Остерегайтесь цепного налима". Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.

## Дрова

Памяти вот мало стало.

Другое и нужно дело, а из головы vyrаниваю. Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился, а топора-то нет!

Хоть порожняком домой ворочайся, — веревка одна.

Ну, старой конь борозды не портит, а я-то что? И без топора не обойдусь?

Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину. Пока лесина падала, сухие ветки обломились.

Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:

— Вези к старухе да ворочайся, я здесь подзаготовлю! Карька головой мотнул и пошел.

А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю, и так, лежа да отдыхая, много лесу навалил. Карька до потемни возил. С последним возом и я домой пришел.

Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.

Баба захлопотала и самовар скорей согрела и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угощают за то, что много дров заготовил.

С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасаясь, без табаку день валяться трудно.

## Угольно железо

Запонадобилось моей бабе уголье, и чтобы не покупно, а своежжёно. Я было попытал словом оттолкнуться.

— Не робята у нас, хватит с нас, робята будут — сами добудут.

Баба взъерошилась. На всяки лады, на всяки манеры меня изругала.

— Семеро на лавке, пять на печи, ему все еще мало!

Я от шума, от жониной ругани подальше. Из избы выбрался, сел, подумал о работе и разом устал. Отдохнул, про работу вспомнил — опять устал. Так до полдён от несделанной работы отдыхал.

Время обеденно, жона меня кличет:

— Старик, уголье нажёт?

— Нажгу уж!

За подходящим материалом надо в лес идти, а мне неохота. Я осиннику наломал — тут

под рукой рос, кучу наклал, зажег. Горит, чернет, а не краснет. Како тако дело? Водой плеснул — созвенело, в руки взял — железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настругал: самоварну трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугуны, и ведра, лопату, ухваты. Ну всяку полезность обжег, жоне принес, думал — будет сыта. А жона обновки угольно-железны заперебирала, языком залопотала:

— Поди скорее, старик, нажги, принеси щипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорный обнос, сковородки, листы да гвоздей не забудь, новы скобы к избяным и к банным дверям, да флюгарку с трещоткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся!

Я свернулся поскорее, пока баба не надумала чего несурзального. Все по-бабьему говоренью нажег, к избе приволок. Все очень железно и очень угольно.

Кабы тещина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. И так всего, о чем подумал, захотел, что придумал мост через реку построить и к теще в гости идти.

Обжег большущу осину со столб ростом. Столб этот в берег вбил, начало мосту сделал. Сел около, соображаю: какой меры, какого виду штуки для моста обжигать?

Анжинер царской налетел на меня, криком пыль поднял:

— По какому полному праву зачал мост строить, ковыды я, анжинер казенный царской, плана еще не составил и денег на постройку не пропил? Строить перестать, столб убрать!

Я ему в ответ:

— Не туго запряжено, можно и вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.

Столб-то хошь и из осины, да железной, его не срубишь, нижний конец в земле корни пустил, его не вы дернешь. Бились-бились, отступились.

Весной столб Уйму спас.

Вот как дело было. Вода заподымалась, берег заподмывало. Гляжу — дело опасно. Уйму смоем и на друго место унесем. На новом необсиженном месте ловко ли сидеть будет? Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил накрепко.

Наша Уйма вся была в одном месте, дома кругом стояли. Из окошек в окошки все было видать, у кого что делают, кто что стряпат, варит. Бывало, кричат через улицу: «Марья, щи кипят, оттащи от огня». Друга кричит: «Дарья, тащи пироги, смотри — пригорят!» Согласно жили. Все у всех на виду.

Водой Уйму подмыло и с места сдернуло!

Веревка деревню удержала, по берегу вытянула. Так и теперь стоит. Не веришь — сходи проверь. Пока с одного конца до другого дойдешь, не раз ись захошь.

## Своя радуга

Ты спрашивашь, люблю ли я песни?

— Песни? Да без песни, коли хошь знать, внутрих у нас одни потемки. Песней мы свое нутро проветриваем, как избу полыми окошками. Песней мы себя, как лампой, освещаем.

Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенны плетенки всяку ягоду собирали. Вот под квас али под молоко стихоплетенье не годилось. Покуда не пропето, все решотно живет.

Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранья не терплю! Сам знашь: что ни говорю — верно, да таково, что верней искать негде.

Раз ввечеру повалился на повети и чую: сон и явь из-за меня друг дружке костье мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.

Мне что? Пушшай себе проминаются. Я тихим манером — да в сторону, да в ту, где девки поют, да и до девок не дошел.

Мимо песня текла широка, гладка. Как тут устоишь? Сел песню, и понесло и вызняло меня в далекой вынос.



Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня все ишшо несет, да все выше и выше, — куды, думаю, меня вынесет? Смотрю, а впереди радуга. Я в радугу вцепился, уселся покрепче и поехал вниз.

Еду, не тороплюсь, не в частом быванье ехать — в радужном сверканье. Еду да песни пою, — это от удовольствия: очень разноцветно-светло вокруг меня. Радугу под собой сгибаю да конец в нашу Уйму правлю, да к своему дому, да в окошко. Да с песней на радуге в избу и вкатился!

А баба моя плакать собралась, черно платье надела да причитанье в уме составляют; ей соседки насажали:

— Твоего-то Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!

Как изба-то светом налилась, да как песню мою услышала жона, разом на обрадование повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол выставила.

И чай в тот раз пили без ругани. И весь вечер меня жона «ягодиночкой» да «светиком» звала.

На улице уже потемнь, а у нас в избе светлехонько. Мы и в толк не берем — отчего, да и не думам. А как я шевельнусь, свет по избе разными цветами заиграт?

— Что такое?

А дело просто. Я об радугу натерся, — вот рубаха да штаны и светят. А сам знашь: протерты штаны завсегда хорошо светятся, а тут терто об радугу. Но и спать пора и нам и другим, а свет из наших окошек на всю деревню, все и не спят. Снял рубаху да штаны, в сундук убрал. А как потемни наступят, мы выташим рубаху али штаны и вместо лампы подвесим к потолку.

И столь приятственный свет был, что не только наши уемски, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освещенья.

Эх, показать сейчас нельзя. Вишь портки на Глинник увезли, а рубаху — на Верхно Ладино. Там свадьбы идут, дак над столами повесили мою одежду, как лимонацию.

Да ты, гостюшко, впредь гости, на спутье захаживай, приворачивай. Будут портки али рубаха дома, — полюбуешься, сколь хорошо, когда своя радуга в дому.

## **Рыбы в раж вошли**

Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил. Тралов в ту пору в знати не было, ловили на поддев, ловили ярусами — по рыбе на крючок. Так это мешкотно было, что терпенья не стало глядеть.

А рыбы в воде вперегонки одна за другой: столько рыбы что вода кипит.

Надумал я ловить на подман. Прицепил на крючок наживку да в воде наживкой мимо рыбьих носов и вожу. Рыбы в раж вошли, норовят наживку слопать. А я ловчусь, кручу да мимо продергиваю.

Рыбы всяку свою опаску бросили, так их разобрало И треска, и пикша, и палтусина, и сайда — все заодно, хвостами по воде бьют, шумят:

— Отдай нам, Малина, наживку, аппетиту нашего не дразни!

Я ногами уперся да приослабил крючок с наживкой. Рыбы кинулись все разом. За крючок одна ухватилась, а друга за ее, а там одна за другу!

Вот тут надо не зевать. Я натужился, чуть живот не оборвал, махнул удилишшем да и выкинул рыбу из воды. Да с самого с Мурмана перекинул в нашу Уйму!

Рыбу отправил, а как будут знать, чья рыба и откудова?

Я живым манером чайку рыбиной подманил, за лапы да за крылья схватил. К носу бумажку с адресом нацепил, а на хвост — записку жоне и отписал:

"Рыбу собирай, соли. Да не скупись — соседям дай. В море рыбы хватит. Я малость отдохну да опять выхвостывать начну".

Об этом у кого хошь спроси, вся деревня знат. А чайка приобыкла и часто у нас

гашшивала да записочки носила из Уймы на Мурман, а с Мурман в Уйму, и посылки, если не велики, нашивала, так и звали — "Малининска чайка".

\* \* \*

Как домой воротился — на пароходе али в лодке? На! На пароходе!

Его жди сколько ден! Мурмански пароходы ходили одинова в две недели, да шли с заворотами.

А я торопился к горячим шаньгам.

Смастерил ходули, да таки, чтобы по дну моря шагать, а самому над морем стоять, и чтобы волной не мочило. Табаку взял пять пудов. Трубку раскурил, дым пустил — и зашагал. С трубкой иттить скорей, и устали меньше. Потом береговые сказывали, что думали: какой такой новой пароход идет? Над водой одна труба, а дыму за пять больших пароходов. Эдакова парохода ишло ни в заведеньи, ни в знати нет!

Вышагиваю себе да дым пушшаю. Пристал. А тут иностранец меня настиг. Ну, ухватку ихну иностранскую я знаю: капитан носом в карту либо в кружку с пивом, штурмана на себя любуются или счет ведут, сколько наживут; команда друг дружку по мордам лупят (это у них вместо приятного разговора-мордобой, и зовут эту приятность "боксой").

Я остановил ходули, трубку выколотил. Иностранец со мной сравнялся, я на его и ступил да ходулями к мачтам прижался, оно и неприметно, и еду. Есть захотел. Вижу — капитану мясо зажарили, полкоровы. Я веревкой мясо зацепил и поел. Так вот до городу доехал. Иностранцы смотрят только на выгоду и ни разу на верёх не посмотрели.

А от города до Уймы — рукой подать.

### Снежны вехи

Просто дело снег уминать книзу: ногами топчи — и все тут. Я вот кверху снег уминаю, делаю это, ковды снег подходящий да ковды в крайность запонадобится.

Вот дали мне наряд дорогу вешить, значит, вехами обставить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо. Ветра не было, снег валил степенно, раздумчиво, без спешности, как на поденщине работал.

Я стал на место, куда веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на пятнадцать выстал столб. Я в сторону подался, столб на месте остался.

Я на друго место — и там столб снежный головой намял. И каким часом али минутошно боле я всю дорогу обвешил, столбы лопатой прировнял. Два столба про запас приберег.

Перед самой потеменью солнышко глянуло и так малиново ярко осветило мои столбы-вехи! Я сбоку водой плеснул, свет солнечно-малиновой в столбы и вмерзнул.

Уж ночь настала, темень пала, спать давно пора, а народ все живет, на свет малиновый любит, по дороге мимо ярких вех себе погуливат.

Старухи набежали девок домой гнать:

— Подите, девки, домой, спать валитесь, утром рано разбудим. Не праздник, всяко, сегодня, не время для гулянки!

А как увидели старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись. А при малиновом сиянии все старухи как маковы цветы расцвели, и таки ли приятственны сделались.

Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчаты и с гунушками да утушками поплыли по дороге.

Ты знаешь ли, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки с маленькой улыбочкой — бантиком.

К старухам старики пристали и песни завели, так и песни звончей слышны, и песни

зацвели.

А девки — все как алы розаны!

Это по зимней-то дороге сад пошел! Цветики красны маки да алы розаны. Песни широкими лентами огнистыми, тихими молниями полетели вокруг, сами светят, звенят и летят над полями, над лесами, в самую дальну даль.

Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи уже не светят, только сами светятся, со светлым днем не спорятся.

Стало время по домам идтить, за каждодневну работу браться. Все в черед стали и всяк ко мне подходил с благодареньем и поклон отвешивал с почтеньем и за работу мою, и за свет солнечный, что я к ночи припас. Девки и бабы в полном согласье за руки взялись до Уймы и по всей Уйме растянулись.

Вся дорога расцвела!

Проезжи мужики увидали, от удивленья да умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и так до полден стояли. После шапки надели набекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и за нашими девками вослед.

Мы им поучительно разговор сделали: на чужой каравай рот не разевай.

Проезжи не унимаются:

— А ежели мы сватов зашлем?

— Девоч не неволим, на сердце запрету не кладем. А худой жоних хорошему дорогу показывают.

В ту зиму к нам со всех сторон сватьи да сваты наезжали. Всякой деревне лестно было с Уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели выбирали.

Нас с жоной на свадьбы первоочередно звали и самолучшими гостями величали.

Ну, ладно. В то-то перво утро, когда все разошлись по домам да на работу, я запасны столбы к дому прикатил да по переду, по углам и поставил прямь окошек. С вечера, с сумерек и до утрешнего свету у нас во всем доме светлехонько и по всей Уйме свет.

Прямь нашего дому народ на гулянку собирался, песни пели да пляски вели.

Так и говорили:

— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свету гулять! У меня каждый день гости и вверху и внизу. И свои уемски, и городски-наезжи. Моя жона с ног сбилась: стряпала, пекла, варила, жарила, она по Уйме первой хозяйкой живет.

Слыхал, поди, стару говорю:

«Худа каша до порогу, хороша до задворья», а моя жона кашу сварит — до заполья идешь, из сыта не выпадешь.

Наши уемски — народ совестливый: раза два мы их угощали, а потом они со своим стали приходить. Вся деревня. Водки не пили. Сидим по-хорошему, разговаривам, песни поем. Случится молчать, то и молчим ласково, с улыбкой.

Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторавливались. Кака хошь некрасива, во что хоть одета, — как малиновым светом осветит — и с лица кажет распрекрасной и одеждой разнарядна. Да так, что из-под ручки посмотреть!

Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хошь обнов — все мало».

В ту зиму одели-таки девочек малиновым светом! Матери сколько денег сберегли новых нарядов не шили. Наши девки нарядне всех богатеек были!

## Собака Розка

Моя собака Розка со мной на охоту ходила-ходила, да и научилась сама одна охотиться, особенно за зайцами. Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу да деревней, да к реке, а тут щука привелась, на берег головищу выставила, пасть разинула. Заяц от Розкиной гонки недосмотрел, что щукина пасть растворена, думал — в како хорошо место спрячется, в пасть щуке и скочил. Розка за зайцем — в щукино пузо и давай гонять зайца по щукиному нутру.

Догнала-таки!

Розка у щуки бок прогрызла, выбежала, зайца мне принесла.

Со щукой у нас много хлопот было. Мой дом, вишь, задне всех стоит. Щуку мы всей семьей, всей родней домой добывали.

Тащили, кряхтели, пыхтели. Притащили. Голова во дворе, хвост в реке. Вот така была рыбина!

Мы три зимы щуку ели. Я в городе пять бочек соленой щуки продал.

Вот пирог на столе, думать, с треской? Нет, это щука Розкина лова, только малость лишку просолилась, да это ничего, поешь, обсолонись, лучше попьешь. Самовар у меня ведерный, два раза дольем — оба досыта попьем!

### Поросенок из пирога убежал

Тетка Торопыга попа Сиволдая в гости ждала. И вот заторопилась, по избе закрутилась, все дела зараз делат и никуды не поспеват!

Хватила поросенка, водой сполоснула да в пирог загнула. Поросенок приник, глазки зажмурил, хвостиком не вертит. Торопыга второпях позабыла поросенка выпотрошить.

А поп зван ись пирог с поросенком.

Тетка Торопыга щуку живу на латку положила, на шесток сунула. Взялась за пирог с поросенком, в печку посадила. А под руку друго печенье, варенье сунулось. Торопыга пирог из печки выхватила, в печку всяко друго понаставила. Пирог недопеченный да щуку сыру на стол швырнула. У пирога корки чуть-чуть прихватило, поросенок в пироге рыло в тесто уткнул и жив отсиделся.

Торопыга яйца перепеченны по столу раскидала. Сама вьется, ног не слышит, рук не видит, вся кипит!

Поросенок из пирога рыло выставил и хрюкат щуке:

— Щука, нам уходить надо, а то поп Сиволдай придет, нас с тобой съест, не посмотрит, что мы не печены, не варены.

— Как уйдем-то?

— За пирог, в коем я сижу, зубами уцепись, от стола хвостом отмахнись, по печеным яйцам к двери прокатись, там ушат с водой стоит, в ушат и ладь попасть.

Щука так и сделала. За пирог зубами уцепилась, хвостом отмахнулась, по печеным яйцам прокатилась да к двери.

Пирог о порог шлепнулся, корки разошлись, поросенок коротенько визгнул, из пирога выскочил да на улицу, да к речке и у куста притих.

А щука в ушат с водой угодила, на само дно легла и ждет.

Торопыга пусты корки пироговы в печку сунула — допекла. Гости в избу. Поп Сиволдай еще в застолье не успел сесть — пирог в оберуки ухватил, тем краем, из которого поросенок убежал, повернул ко рту и возгласил:

— Во благовремени да с поросенком... — и потянул в себя жар из пирога.

Жаром поповско нутро обожгло. В нутре у попа заурчало, поп с перепугу едва слово выдохнул:

— Кума, я поросенка проглотил! Слышь — урчит. Крутонулся Сиволдай из избы да к речке, упал

У куста и вопит:

— Облейте меня холодной водой, у меня в животе горячий поросенок!

Торопыга заместо того, чтобы воды из речки черпнуть, притащила ушат с водой и чохнула на попа.

Щука хвостом вильнула, в речку нырнула.

Поросенок это увидел, из-за куста выскочил и с визгом ускакал в сторону.

Поп закричал:

— Не ловите его, он съеден был!

После этого угощения поп не то что не сыт, а даже отощал весь.

## Апельсин

Так вот ехал я вечером на маленьком пароходишке. Река спокойнехонька, воду пригладила, с небом в гляделки играют — кто кого переглядит. И я на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чищу и делаю это дело мимодумно.

Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При солнечной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсинову месту поглядеть, что мой апельсин делат?

Апельсин в рост пошел, знат, что мне надо скоро, — растет-торопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над водой размахался большим зеленым деревом и в цвет пустился.

И така ли эта была распрекрасность, как кругом вода, одна вода, сверху небо, посередке апельсиново дерево цветет!

Наш край летом богат светом. Солнце круглосуточно. Апельсины незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листьях как фонарики золоты.

Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь.

Много городских подъезжало, вокруг кружили, только всё безо всякого толку.

Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку скочил, карбасов штук пятнадцать с собой прихватил, к апельсиновому дереву подъехал. Меня волнами подкидывают, а я апельсины рву. Пятнадцать карбасов на грузил с большими верхами, и лодка полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была.

Меня раздумье берет, как достать остатный апельсин. В праздник, в тихую погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева тоже в лодочке франт да франтиха крутятся. Франт весь об тянут-перетянут — тонюсенький, как былиночка. А франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват:

— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина.

Франт отвечает:

— Для вас апельсин? Я-с сейчас!

Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал, на саму корму. Лодка носом выскочила, франтиху выкинуло. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настояща пловуча животна!

Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез.

Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит:

— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом гулять наособицу!

Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляющих дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали.

Народ, который безработный был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представленье.

К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин достал.

Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любится.

Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью.

Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.



## Чтобы всего себя не разбудить

Вот скажу я тебе, гость разлюбезной, как я дом-от этот ставил. Нарубил это я лесу на дом, а руки размахались, устатка нет — стал рубить соседу на избу, да брату, да свату, да куму с кумой, да своим, да присвоим. Нарубил лес — вишь, дом сложен что нать.

А как домой лес достать? Лошади худы. И столько лесу возить время много нать.

Вот я уклад лес по дороге до самой деревни, укладывал в один ряд концом на конец. Подождал, ковды спать повалятся наши деревенски, чтобы как грехом не зашибить кого.

Вот уж ночь, все угомонились. Я топором по последнему бревну стукнул что было силы! Бревно выгалило, да не одно, а все на попа стали. На попа стали да перевернулись и сызнова на попа, да впереверт, и так до моего дому. У дома склались кучей высоченной.

Посмотрел кругом — все спят. По времени знаю — долго еще не заживут. А моя стара избенка ходуном ходит — это жона моя храп проделывает. Хотел поколотиться, да будить боязно, как бы чем не огрела.

Залез на бревна на верёх и спать повалился. За спал крепко-накрепко с устатку.

Утресь просыпаться почал — жить уж пора. Да хорошо, что проснулся не разом, а вполсна. Смотрю, а мои соседи да родня лес из-под меня раскатали, кому сколько надобно, а я в высях лежу на крепком сне, как на подпорке, да носом песни высвистываю!

Скорей рукой один глаз прихватил да половину рта.

Одной половиной сплю-тороплюсь, а другой в соображение пришел и вполголоса, чтобы всего себя не разбудить, кричу вниз:

— Сватушки, соседуски! Тащите лестницу да веревки — выручайте, тако спанье перводелное!

Приладилс на снах крепких спать. Коли где в высях засплю и жить время придет, то я только норовлю легонько просыпаться. Как попроснусь, так и опущусь, а как совсем глаза открою — я уж на земле али на крыше какой.

Одинова я заспал так в высях, а меня ветром в город отнесло наш, спустило на пожарну каланчу, на саму маковку, где сигналам место. Проснулся, а внизу — шум, тревога, народ всполошился. Ищут: где горит? Это меня за сигнал приняли.

Даже не били — домой отпустили. Только полицейский штрафу рупь содрал за спанье в неуказанном месте.

## Яблоней цвел

Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.

Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.

В ту же минуту высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звонче птичьей. Песня ближе, громче, а это дождик урожайной мне «здравствуй!» кричит.

Я дождику во встречу руки раскинул и свое слово сказал:

— Любимой дружок, сегодня я никак деревянность в рост пускать не буду, а сам расти хочу.

Дождик не стал по сторонам разливаться, а весь на меня. И не то что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, будто в обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутри, а сверху в прохладной свежести себя чувствую.

Стал я на огороде с краю, да у дорожного краю, да босыми ногами в мягку землю! Чую: в рост пошел! Ноги — корнями, руки ветвями. Вверх не очень поддаюсь: что за охота с колокольной ростом гоняться!

Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.

Придумал стать яблоней. Задумано-сделано. На мне ветви кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел и зацвел. Цветом яблонным весь покрывся.

Я подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся.

От цвету яблонного, от спелых я блоков на всю деревню розовело и яблочной дух разнесся.

Моя жона перва увидала яблоню на огороде, это меня-то! За цветущей, зреющей нарядностью меня не заметила. Рот растворила, крик распустила:

— И где это Малина запропастился? Как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит! Да как на это полицейско начальство поглядит?

Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул — и вырядил жону в невиданну обнову. Платье из зеленых листиков, оподолье цветом густо усыпано, а по оплечью спелы яблоки румянятся.

Моя баба приосанилась, свои телеса в стройность привела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.

Вся деревня просто ахнула. Парни гармони растянули, песню грянули:

*Во деревне нашей  
Цветик яблоня цветет,  
Цветик яблоня  
По улице идет!*

Круг моей жоны хоровод сплели. Жона в полном удовольствии: цветами дорогу устилает, яблоками всех одаривает. Ноженькой притопнула и запела:

*Уж вы, жоночки-подруженьки,  
Сваты, кумушки,  
Уж вы, девушки-голубушки,  
Время даром не ведите,  
К моему огороду вы подите,  
Там на огородном краю,  
У дорожного краю  
Растет-цветет ново дерево,  
Ново дерево — нова яблоня.  
Перед яблоней той станьте улыбаючись,  
Оденет вас яблоня и цветом и яблоками.*

Тако званье два раза сказывать не надо. Ко мне девки и бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплой день ишшо больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как, тут в скорой в полный рост пошло. Деревя вызнялись, кусты расширились, травки на радостях больше ростом стали, и где было по цветочку на веточке, — стало по букету. Вся деревня стала садом, дома как на именинах сидят, и будто их свежее выкрасили.

Девки, жонки на меня дивуются да поахивают.

Коли что людям на пользу, — мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними и старухи: котора выступками кожаными ширкат, котора шлепанцами матерчатыми шлепат, котора палкой выстукиват. А тоже стары кости расправили, на меня глядя, улыбаются.

И от старух весело, коли старухи веселы. Я и старух обрядил и цветами и яблоками.

Старухи помолодели, зарумянились. Старики увидали- только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили себя одернули, козырем пошли за старухами.

Наша Уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице- фруктовый хоровод.

От нас яблочное благорастворение во все стороны понеслось и до городу дошло.

Чиновники носами повели, завинюхивали:

— Приятственно пахнет, а не жареным. Не разобрать, много ли можно доходу взять?

К нам в Уйму саранчой прискакали. Высмотрели, вынюхали. И на своем чиновничьем

важном собрании так порешили:

— В деревне воздух приятней, жить легче, на том месте больше согласие, а по сему всему обдуманному — перенести город в деревню, а деревню перебросить на городское место.

Ведь так и сделали бы! Чиновникам было — чем дичей, тем ловчей. Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.

У чиновников были чины да печати: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов были капиталы и больша места в городе — места с лавками, с лабазами. Купцы пузами в прилавки уперлись, из утроб своих как в трубы затрубили:

— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обирам. Мы отступного дать не отступимся. А что касательно хорошего духу в деревне, то коли его в город нельзя перевезти — надо извести.

Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они и ближних и дальнотеренских грабить доставили.

Чиновницы, полицейшицы тоже запах яблонной услыхали:

— Ах, как приятны духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться.

К нам барыни-чиновницы, полицейшицы, которы на извошкие которы пешком — заявились. Увидали наших девок, жонок — у всех ведь оподолье в цветах, оплечье во спелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позеленели и зашипели:

— И где это таки нарядности давают, почем продаают, которого конца в очередь становиться? И кто последний, а я перьва!

А мы живем в саду в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятя, обеды сами варятя, пироги, хлебы сами пекутся.

В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:

*У Малины в огороде  
Нова яблоня цветет,  
Нова яблоня цветет,  
Всех одаривает!*

Барыни и дослушивать не стали! С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали. Злы личности выставили, зубы шшерят, глаза шшурят, губы в ниточку жмут.

На них посмотреть — отвернуться хочется.

Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву с Уймы собрал, весь репейник выдергал. На чиновниц, на жон полицейских налепил. Они с важностью себя встряхивают, носы вверх подняли, друг на дружку не смотрят, в город отправились.

Тут попадьи прибежали с большущими саквояжами. Сначала саквояжи яблоками туго набили, а потом передо мной стали тумбами. Охота попадьям яблонями стать и бояться: "А дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут колдовства?"

От страха личности поповских жон стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а отворенны рты печными отдушинами. Из этих отдушин пар со страхом так и вылетал.

У меня ни крапивы, ни репейника. Я собрал лопухи и облепил одну за другой попадью.

Попадьи оглядели себя, видят — широко, значит — ладно.

В город поплыли зелеными копнами.

Перьвыми в город чиновницы и полицейшихи со всей церемонностью заявились. Идут, будто в расписну посуду одеты и боятся разбиться. Идут и сердито на всех фыркают: почему-де никто не ахат, руками не всплескиват и почему малы робята яблочков не просят?

К знакомым подходят об ручку здороваться, а знакомы от крапивы, от колючего репейника в сторону шарахаются

По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся себя показывают. Мужей и жгут и колют. Во всем чиновничьем, полицейском бытее свары, шум да битье — да для них это

дело было завсегдашно, — лишь бы не на людях.

Приплыли в город попадьи (а были они многоясы, телом сыты) — на них лопухи в большу силу выросли.

Шли попадьи-кажна шириной зеленой во всю улицу. К своим домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота влезть не могут.

Хошь и конфузно было при народе раздеваться, а верхни платья с себя сняли, в дома заскочили.

Бедной народ попадьины платья себе перешили. Из каждого платья обыкновенных-то платьев по двадцать вышло.

Попадьи отдышались и пошли по городу трезвон разносить:

— И вовсе нет ничего хорошего в Уйме. Ихни деревенски лад и согласие от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты, и друг про дружку все вызнали!

Чиновницы из форточки в форточку кричали, — это у них телефонной разговор, — попадьям вторили.

Потом чиновницы, как попадью стретят, о лопухах заговорят с хихиканьем. А попадьи чиновниц крапивным семенем да репейниками обзывали.

Это значит — повели благородной разговор.

Теперича-то городские жители и не знают, каково раньше жилось в городе. Нонче всюду и цветы и деревья. Дух вольготной, жить легко.

Ужо повремени малость! Мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.

## Перепилиха

Глянь-ко, гость, на улицу. Вишь-Перепилиха идет? Сама перестарок, а гляди-ко, фасониста идет, буди жгется: как таракан по горячей печи.

Голос у ее такой пронзительной силы, что страсть!

И с чего взялось? С медведя.

Пошла это Перепилиха (тогда ее другомя звали) за ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепилиха грабилкой собират-торопится.

Ты грабилку-то знашь? Така деревянна, на манер ковша, только долговата, с узорами по краям. У Перепилихи было бабкино приданое.

Ну, ладно, собират Перепилиха ягоды и слышит: что-то трешшит, кто-то пыхтит.

Глянула, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират!

Перепилиха со всего-то голосу визгнула. И столь пронзительно, что медведя наскоозь проткнула и наповал убила голосом!

Да над ним ишшо долго визжала боялась, кабы не ожил.

Потом медведя за лапу домой поволокла и всю дорогу голосом верещала. И от того самого места, где медведя убила и до самой Уймы как просека стала. Больши и малы дерева и кусты как порублены, пали от Перепилихиного голоса.

Дома за мужа взялась — и пилила и пилила!

Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толкнул? Зачем не помог медведя волокчи?

Муж Перепилихи и рта открыть не успел. Перепилиха его перепилила. Так сквозна дыра и засветилась. Доктор потом рассмотрел и сказал:

— Кабы в сторону на вершок — и сердце прошибла бы! Жить доктор дозволил, только велел деревянну пробку сделать. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. А как пробку вынет — дух через дыру пойдет и заиграет музыкой приятной. Перепилихин муж наловчился: пробку открыват да закрыват, и на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут за место гармониста.

А Перепилиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги.

Она перво-наперво ум отобьет голосом, опосля того голосом всего исшшиплет, прицарапат.

Мы только выторапливались уши закрыть. Коли ухом не воймеем, на нас голос Перепилихин и силы не имеет.

Одиново видим — куры да собаки всполошились, кто куды удирают. Ну, нам понятно — это, значит, Перепилиха истошным голосом заверешшала.

Перепилиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихе обругал али в гостях не назвал самолутчей гостюшкой.

Перепилиха отругиваться собралась, а для проминанья голоса у нас по Уйме силу пробует.

Мы ёёну повадку вызнали дотошно.

Сейчас уши себе закрыли, кто чем попало. Кто сковородками, кто горшком, а моей жоны бабка ушатом накрылась. А попадя перину на голову вздыбила, одеялом повязалась да мимо Перепилихи павой проплыла. Уши затворены, — и вся ересь голосова нипочем.

Перепилиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху, — по дороге только пыль взвилась.

А жаровихинцы уже приготовились. Двери, окошки затворили накрепко, уши позатыкали. А дома, которы не крашены, наскоро мелом замазали — на крашеное Перепилихин голос силы не имеет.

Вот Перепилиха по деревне скется, изводится. А все безо всякого толку.

Жаровихински жонки из окошек всяки ругательны рожи корчат.

Увидала Перепилиха один дом некрашеной, к тому дом подскочила, дак от дома враз щепки полетели.

Жил в том дому мужичонко — Опарой его звали, житышко у Опары маловатно, домишко чуть на ногах стоял. Опара догадался да на крышу с ушатом воды вылез да и чохнул на Перепилиху цельным ушатом.

Перепилиха смолкла и силу голосову потеряла.

Тут выскочили жаровихински жонки, а в ругани они порато наторели. И взялись они Перепилиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед.

Про воду мы в соображение взяли. Стали Перепилиху водой утихомиривать, а коли в гости придет-мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала.

Перепилиху мы и на общественну пользу приспособляем: как чишемину задумам, сейчас Перепилиху пошлем дерева да кусты голосом рубить..

Да ты погоду уходить, слушаешь ты хорошо и для меня самолутчей гостюшко, погоду, может Перепилихин муж завернуть, ты евонну музыку сам послушаешь.

## Громка мода

Сидел я на угоре над рекой, песню плел, река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой в ладу в согласье живем. Песню плету, узоры выплетаю. Вдруг вывернулся пароходишко прогулошной: городских гуляк возит для проветриванья. Пароходишко свистком, скрипучим визгом меня с песни сбил, я песню потерял на тот час. Я осердился, бечевкой размахнул, свисток сорвал, в тряпку укутал его — и не слышно. Прихожу домой, а у нас франтиха-модница в гостях сидит, из городу приперлась, чаи пьет. Гостья локти расставила, пальцы растопырила для особого модного фасону, чашку в двух перстах едва держит и чай выфыркиват. От своей нарядности важничат и меня зовет:

— Присядь со мной рядышком, песенной выдумшшик!

— От сижанки я. На ногах постою да по избе похожу.

С ней, модницей-франтихой, рядом-то не очень сядешь — така она широка. Кофта вся в оборках, рукава пузырями, а юбка двадцать три метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему ндраву. Я сзади подошел и под кофтенны оборки, в юбошны складки свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул и сам отскочил.



У модницы как засвистело! Она руками и так и сяк — не унимается — свистит. Тут гостья выскочила.

— Извините, мне недосужно боле в гостях сидеть меня в середине какое-то расстройство, я к фершалу побегу.

Бежит франтиха по деревне, пыль разметат, кур пугат, а свисток вывизгиват на ходу ишшо звонче. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершала прогнали.

Модница-франтиха до самого городу юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом подымала!

В городе шагу сбавила, ради важности двадцатитрехметровой юбкой вертит, а свисток враскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось. Городские франтихи-модницы сполошились, в окна выпялились:

— Что оно тако? Откуда экой фасон?

А модница в свистячей, визжащей юбке ужимочку на личике сделала, губки бантиком сложила, чуть-чуть выговорила:

— Это сама нова загранична мода и прозывается "музыкально гулянье"!

Что тут в городе повелось! Модницы широки юбки напялили и под юбки граммофоны приладили, под юбки девчонок служащих посадили. Девчонки граммофонные ручки вертят, пластинки переворачивают, граммофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармони играть нажаривать почали, в бубны бить стали. У кого служащей девчонки нету али граммофон не припасен, то взяли будильники, на долгой звон завели да под юбки дюжинами прицепили.

Протопопиха малой колокол с соборной колокольни стащила, подвесила, идет да каблуками вызванивает!

Жители городски едва не оглохли от экого музыкального гулянья.

Начальство скоропалительно собралось и особым приказом, с запрещением взамуж выходить и с мужем жить, громку моды запретило.

Все живо угомонилось. Во всех концах стихло. Только у модницы-франтихи свистит и свистит без передыху!

Модница ко мне в Уйму рванулась. Да по берегу нельзя — в кутузку заберут, она в лодку скочила и во всей модной нарядности часов пять веслами шлепала, ко мне уж на ночь глядя добралась и давай упросом просить помочь ей против свисту. Ну как не помогчи, — я всегда помочь готов!

— Скидывай, кума, юбку, я перестрою на нову моду.

Модница юбку сняла. Я свисток отцепил, в тряпку укутал его, — опять не слышно. От юбки я двадцать два с половиной метра материи отхватил, на портянки многим хватило. Оставил полметра.

На другой день франтиха нову моду завела. По городу в узкой юбке втихомолку пошла. Шшеки надула напоказ, мол, коли юбкой узка, дак с лица широка.

Городски модницы сейчас же увидели, как им остат? В узки юбки вырядились да на улицу выкатились. А не знали, что шшеки надо надуть — модницы полны рты воды набрали: им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то полнехоньки водой. Идут модницы, глаза выпучили, губы не то что бантиком — круглой пуговицей. Ножками шажки делают маленьки, шагают скоренько. Идут, буди жгутся.

Тут на модниц полицейской чин наскочил, саблей забречал, ногами застучал.

— По какому случаю ходите да молчите, како тако дело умышляете?

Модницы как фыркнули на полицейского чина водой, разом его обмочили.

— Мы из-за тебя из себя всю воду выпустили, из-за тебя модной фасон потеряли! Коли на громку моды запрет наложен, дак втихомолком ходить нельзя запретить!

Полицейского чина модницы разом оглушили, он ничего не слышит, головой трясет, из себя воду выжимат.

Начальство опять собралось, опять заседало-думало и новой приказ объявило:

— Моду, окромя громкой, как у хошь одевайте, только ртов не открывайте.

Ты думаешь, я все это выдумал, что такого и не бы ло?

Посмотри на старопрежних картинках, в прежних журналах, увидишь, каки широки юбки носили. Под юбками малы ребятишки хоромы водили. На других картинках юбки шириной с рукав, по ровному месту шли, а как приступка — и ни с места! На лестницы модниц на руках подымали.

## Модница

Приходит в магазин модница. Вся гнется, ковыляется — нарядну походку выделяват. Руки раскинула, пальчики растопырила.

Говорить почала, и голосок тоже вывертыват, то сквозь нос, то сквозь зубы, то голос как на каблук вздынет.

Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговариват, по-русскому только понимает, и то не в большу силу, и вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачиват, а ежели ругаться хватится, так всяко носово и горлово придыханье в сторону кинет и своим настоящим голосом как в барабан ударит! Кого хошь переругат, да не то что одного — весь рынок переругивала! Так вот пришла модница, фасонность и ногами, и руками, и всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завывоваривала:

— Ах, ах, ах! Надобно мне-ка материи на платье! И самой модной-размодной! Чтобы ни у кого не было модней мого! Чтобы была сама распоследня мода!

Приказчик кренделем изогнулся, руки фертм растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос да с завыванием залопотал под стать моднице:

— Да-с, у нас для вас есть в аккурат то, что вам желательно-с!

Дернул приказчик с верхней полки кусок материи, весь пыльной, о прилавок шлепнул — пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю, моднице опомниться не дает:

— Вот-с, как раз для вас, пожалте-с, сорт особенной поол-коо-тьер-с!

Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула, на материю и прямо и сбоку поглядела, руками пощупала, ей и не очень нравится, а коли модная материя, то что будешь делать?

— А отчего эки пятна на материи?

— Это цвет ле-жаа-нтыин-с! К вашей личности особенно очень подходящий. Извольте примерить, к себе приставить. Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло!

Модница очень довольна, что сыскала особенну модну материю.

— А кака отделка к этому поол-коо-тьеру цвета ле-жаа-нтыин?

Приказчик вытащил из-за прилавка обрывки старых кружев, которыми пыль вытирали. Голос выгнул так, что и сам поверил своему уменью говорить на иностранный манер:

— Для этой материи и только для вас, другим и не показывам, вот-с, извольте-с, отделка-с, проо-ваас-дуу-р!

И что бы вы думали?

Купила-таки модница материю полкотер цвета лежантин с отделкой про вас, дур...

## Как наряжаются

Наши жонки, девки просто это дело делают. Коли надобно вырядиться для гостьбы али для праздника — всяка самолутчий сарафан свой, а котора и платье на себя наденет, на себе одернет. И кака нать, така и есть.

Взять к примеру мою жону. Свою жону в пример беру — не в чужи же люди за хорошим примером итти?

Моя жона оденется, повернется — ну, как с портрета выскочила! А ежели запоет в наряде, прямо как на картину любуешься. Ежели моя жона в ругань возьмется, тогда скорей

ногами перебирай да дальше удирай и на наряды не оглядывайся.

К разу скажу: котора баба не умет себя нарядно одеть — хошь и не в дороге, а чтобы на ней было хорошо, — ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду не портила. И про мужиков сказать. Бывают так: у другого все ново, нарядно, а ему кажется, что одна пуговица супротив другой криво пришита, и всей нарядности своей из-за этого не восчувствует и при всей нарядности рожу несет будничну и вид нестоящей.

Сам-то я нарядами не очень озабочен. У меня, что рабоче что празднично, — отлика невелика. На праздник, на гостьбу я наряжаюсь, только по-своему. Сяду в сторонку. Сижу тихо смирно и придумываю себе наряд. Мысленно себя всего с головы до ног одену в обнвы. Одежу придумаю добротную, неизносную, шитья хорошего, и все по мерке, по росту: не: укорочено, не обужено. Что придумаю — все на мне на месте, все на мне впору. Волосы руками приглажу — думаю, что помадой мажу. Бороду расправляю. По деревне козырем пройду.

Кто настоящего пониманья не имеет, тот только мою важность видит, а кто с толком, кто с полным пониманьем, тот на меня дивуется, нарядом моим любит, в гости зовет — зазывает, с самолутчими, с самонарядными за стол садит и угощают первоочередно.

И всамделишной мой наряд хулить нельзя. Он не столь фасонист, сколь крепок. Шила-то моя жона, а она на всяко дело мастерица — хошь шить, хошь стирать, хошь в правленье заседать.

Раз я от кума с гостьбы домой собрался. Все честь по чести: голова качается, ноги подгибаются. Я языком провернул и очень даже явственно сказал: "Покорно благодарим, премного довольны, довольны всей утробой. И к нам милости просим гостить, мимо не обходить". И все тако, как заведено.

Подошел я к порогу. А на порог ногой не встаю, порогов не обиваю. Поднял я ногу, чтобы, значит, перешагнуть, а порог выше поднялся, я опять перешагнул. Порог свою линию ведет — вздымается, а я перешагиваю.

Да так вот до крыши и доперешагивал. Крыша крашена, под ногами гладка. Я поскользнулся и покатился. Дом в два этажа. Тут бы мне и разбиться на мелкие части.

Выручила пуговица. Пуговицей я за желоб дождевой зацепил.

И на весу, да в вольном воздухе, хорошо выпался. Спать мягко нигде не давит. Под боком — ни комом, ни складкой. Поутру кумовья-сватовья проснулись, меня бережно сняли.

Городским портным так крепко, так нарядно пуговицу не пришить, как бы дорого ни взяли за работу.

## Сладко житье

Посреди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так, чтобы большой, не на сто градусов, врать не бу ду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гости с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.

Иду, снегом поскрипываю, а мороз по лесу посту киват.

Гляжу — пчелы!

Ох ты — пчелы? И живы, и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и спрячет себя.

Кабы я от кума шел, ну, тогда дело просто — с пива хмельного в глазах всяка удивительность место находит. Кабы я из полицейской кутузки был выпущен, тог да бы и память, и пониманье были бы отшиблены. А я в настоящем полном своем виде, во всем порядке.

Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на меня сладким теплом пахнуло-дохнуло. Нюхнул — пахнет медом, пряниками, лампасьем хорошим. Я шагнул в туман, а он подается, а не раздается, в себя не пущат. Хотел напролом проскочить, напором взять, а туман тугой — держится тихо-тихо, а вы толкнул меня вобратно на холод.

А пчелки трудящи шмыгают в тумане, похоже, зовут к себе в гости. Надо, думаю, пчелкам слово сказать, а туман сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — очень даже приятно. К чаю это подходяще. Стал топором туман рубить.

Прорубил ход в сладком тумане, протолкал себя на ту сторону. И попал на сладки воды, на те самы, которы в нашей холодности хранили себя.

Стою в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке, на травке цветочки разны покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.

Берег озерка усыпан разноцветным лампасьем. Озерко гладку волну вздымет на берег, новы пригоршни лампасья кинет, у берега пена спенится, сахаром на берегу останется.

Пчелки кругами носятся, золоты узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу. На берегу мед ровными стопками. Кажна стопка тройке воз, если мерить на увоз.

Хлебнул воду для испытания. Вода теплая, сладкая. И все место из-за тумана никакому полицейскому не пронюхать. Спрятано хорошо.

А кругом дела делаются. От моего прихода тепла прибавилось. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником двинулся.

Я посторонился, туман раздвинулся. Пряники широчащи, длиннящи двинулись по моим следам. Пчелки трудящи, работящи на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье под пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам в деревню, к моему двору, вмести с пряниками прикатилось.

Надо сладко добро от захватчиков спрятать и по дороге прикрыть. Я туман прихватил за край и растянул занавеской на весь путь пряникам, прикрыл и с той и с другой стороны.

Через туман не видно пряников самоидуших, скрозь туман без особой сноровки не проскочишь. Дело хороше, большо и никому не известно.

Будь пряники ростом с воротину, просто бы их по поветям под навесами, по амбарам спрятать от жадных глаз, от грабительских лап. Пряники шириной с улицу!

А пряники идут и идут. Мы их на ребро да к дому. Пряники во всю стену. Мы дома пряниками обставили, крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши лампасьем леденцовым разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.

Туман по показанной ему дороге тянется от сладко го озера и у нас на задворках вьется, в сладки кучи складываются.

Пряники без устали самоходно себя месят, пекут, к нам себя катят, кучами складываются.

Народ у нас артельный, на помощь пришли, пряники к себе растащили. Дома, сидя за чаем, угощаются, потчуются.

К нам коли хороший человек поколотится, мы пряничны ворота отворим, с поклоном принимаем, угощам, пряниками накормим, с собой запас дадим.

Поколотится урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:

— Милости просим, заходите, гостите, для вас самовар ставим, на стол собираю, рюмки наливаю, только ворота пряничны не отворяются. Уж не стесняйте себя церемонией, поешьте пряники, проешьте дыру в меру своей вышины, ширины и в избу зайди те, гостями будете.

Поп, урядник, чиновник на пряничны ворота набрасывались, животы набивали пряниками, пряники ломали, в карманы клали, а к нам ходу ни прожрать, ни проломать не могли.

Без них у нас и стало сладко житье.

## **Бабы разговаривают**

До чего бабы за разговором время теряют. Теперь-то всяка делом занята, дело подгонят, а в прежню пору у них време ни для пустого разговору много было. Разговор начинали чинно, медленными словами, а как разгонятся — ну, и затараторят, от слов

брякоток пойдет, бывало.

Перед моей избой столкнулись попадья Сиволдаиха и модница из городу. Им бы идти куда ни на есть — ну, к той же попадье, да там за самоваром и говорили бы, сколько хотели. Но обе, вишь ты, торопились. Остановились на два слова, начали чинно, и обе в один голос и как одно длинно слово протянули:

— Здравствуйте-как-поживаете-благодарю-вас-ни-чего!

И всякое другое для разминания языка.

Вскорости заговорили громче, громче и затрещали, будто зайцев загоняют.

Я час терпел, думаю умом: наговорятся, разойдутся. Второй час прошел. Я ничего делать не могу, в ушах шум, гул. Повязал голову жониной кофтой ватерованной, закутал фартуком.

А под окном громче заговорили, в спор вошли, на крик перешли. Я на чердак вылез с ушатом воды и из чердачного окошка стал водой поливать.

Бабы зонтик растопырили и еще громче заголосили.

Хватил я лопату — да песком, что на чердаке над потолком был. Лопатой сгреб — да в окошко, да на Сиволдаиху и на городску модницу! Сыпал, сыпал, слышу — стихло: ушли, значит.

Я умаялся, прилег отдохнуть. И только разоспался: по-хорошему — слышу шум-звон. Что тако?

А это поп Сиволдай в колокол звонит, попадью ищет. Из города прибежали — модницу ищут. Ко мне урядник колотится, ругается, велит кучу песку с *улиц* ы убрать.

Глянул я на улицу, а перед домом моим поперек улицы на самой дороге большая куча песку.

Мне како дело до улицы? Кабы во дворе, я убрал бы, а тут место общественно, пусть обществом и убирают!

Куча-то проезду мешала. Стали песок разгребать, дорогу очищать. Я со всеми тоже работал. Песок разрыли, а там под зонтиком Сиволдаиха с модни цей одна другой в космы вцепились, ревя ревут, криком кричат. У них спор вышел о новом модном наряде: куда бант прицепить, спереди али сзади?.

Это дело тако важно, что бабы со всей Уймы в спор вступились, проезжаючи городски тоже прицепились.

Полторы сутки спорили, кричали, нас обедом не кормили, чаем не поили.

Полицейско начальство глупому делу не мешало. Мы уж своей волей вольнопожарной командой в баб воду пустили — и то едва по домам разогнали.

## Месяц с небесного чердака

На военной службе я был во флоте. В морском дальнем походе довелось быть на большом корабле.

Шли мы и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет, да небо куда-то отодвинули.

А в старо бывалошно время дошли мы корабле до угла, где земля в небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись. В небе дыру пропорол.

Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там, ну как на всяком чердаке, хламу разного навалено кучами: стары месяцы державны, звезды ломаны, молни ржавы, громы кучей навалены, грозовы тучи запасны, их я стороной обошел. Ну-ко тронь их, что будет

Хотел было просту тучу взять на рубаху каждоденну, да подходящей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расплзается. Что взять для памяти, звезду? А что их с неба хватать!

Выбрал месяц, который не очень мухами засижен, прицепил на себя, как раз во весь живот пришелся, как по мерке, шинель застегнул, месяца не видно.

Высунулс с неба, а корабль отошел, до него сразу пропасть стала.



Что делать? Не сидеть же век на небе?

Размотал шарф с шеи, распустил его в одну ниточку, кинул вниз, начал спускаться. До конца нитки спустился. До корабля, до палубы, верст полтора ста осталось. Такой-то пустяшный кусок и скочить не сколь хитро.

Начальство в большом беспокойстве было, что в небе дыру сделали, и не заприметило, как я на небо забрался и с неба воротился.

Вечером на поверке я шинель распахнул.

Что тут случилось!

Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул! Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже выше всякой меры.

Командиры забежали, руками хлопают, руками машут, кричат мне:

— Малина, не светь!

Я выструнился, месяцем выпятился и рапортую:

— Никак нет, ваше командирство, не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускну, так свет сам погаснет.

Начальство сейчас написало увольнительную записку домой, печати наставило для крепости. Я шинель запахнул — и свету нету.

А в нос мне всякой пыли с небесного чердака напало: и ветровой, штормовой, грозовой, громовой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой с громом!

Разом корабль к берегу принесло.

В те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновничьишкой светлы пуговицы нацеплял, а который чином поболее, то всяки блестящи отметины на себя лепил. У самых больших чиновников все брюхи были в золоте и зад золоченый, им и спереду и сзади поклоны отвешивали.

У кого чина не было, а денег много, тот золоту цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.

Я это знал распрекрасно.

Вышел я на берег и прямо на вокзал, и прямо в буфет.

Меня пускать не хотели.

— Куда прешь, матрос, здесь для чистой публики! Нас, матросов и солдат, и за людей не признавали. Я шинель распахнул, месяцем блеснул до полной ослепительности.

Все заскакали, закланялись. Ко мне не то что с поклоном, а с присядкой подлетели услужающие и го ворят:

— Ах... — и запнулись, не знают, как провели-чать, — не желательно ли вам откушать? Всяка еда готова, и выпивка на месте!

Я сутки напролет сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было. Отдал приказ поезду меня дожидаться.

Заместо платы за еду я месяцем светил.

С меня денег не просили, а всякого провианту за мной к поезду вынесли, чтобы в пути я не оголодался.

В вагон не полез: в вагоне с месяцем тесно и никто не увидит моей светлости. Уселся на платформу. Меня подушками обложили, провианту наклали.

Шинель я снял. И пошло сияние на все округи!

Это для неба месяц был не гож да прошломесечный, а для нас на земле так очень даже много свету.

Светило не с неба на землю, а с земли до неба, и та-ка была светлынь, что всю дорогу и встречали, и провожали с музыкой, и пели «Светит месяц».

Домой приехал. Начальство не знало, как надо почтение выказать такому сияющему брюху.

Парад устроили, с музыкой до самой Уймы провожали, ура кричали.

Только вот месяц на небе в холоду держался, ветром обдувало, а здесь на земле тухнуть



стал — и погас.

В хозяйстве все идет в дело. На том месяце хозяйки блины, пироги, шаньги пекут. Как сковородка месяц и великоват, ну да большому куску рот радуется.

В гости приходи — блинами угощу, блины-то каждый с месяц ростом. Поешь — верить станешь.

### За дровами и на охоту

Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.

Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на возу дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и — давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.

Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню — куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.

Ехал-ехал да и заспал. Долго ли спал — не знаю.

Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?

Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толщиной.

Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором, — Карьке ногу отрубил.

Поскорей взял серы еловой свежей и залепил Карькину ногу. Сразу зажила!

Думаешь, я вру все?

Пойдем, Карьку выведу. Посмотри, не узнаешь, котора нога была рублена.

### Невеста

Всяк знат, что у нас летом ночи светлы, да не всяк знат, с чего это повелось.

Что нам по нраву, на то мы подолгу смотрим, а кто нам люб, на того часто посматривам. В пору жониховску теперешна моя жона как-то мне сказала, а говоря, потупилась: «Кого хошь люби, а на меня чаще взглядывай». И что вышло? Любы были многи, и статны и приятны и выступью, и говором, а взгляну на свою — идет-плывет, говорит-поет, за работу возьмется — все закипит. Часто взглядывал и углядел, что мне краше не сыскать.

Моей-то теперешной жоной у нас весну делали, дни длиннили, ночи коротили. Делали это так. Как затеплило, стали девок рано будить, и к окошкам гонить. Выглянут девки в окна, моя жона из крайнего окна, которо к солнцу ближе. Выглянут — день-то и заулыбается. Солнышко, и глаз не щурит, а глядит во всю ширь. И — затает снег, сойдет, сбежит. Птицы налетят, все зарастет, зацветет. Девки день работают, песни поют. Вечером гулянкой пойдут — опять поют. Солнце заслушается, засмотрится и уходить не торопится. Девок домой не загнать, и солнце не уходит, да так все лето до осенних работ. Коли девки прозевают и утром старухи выглянут — ну тот день сморщен и дождлив. По осени работы много, в поле страда, девки уставать стали. Вот тут-то стары карги в окошки пялились и скрипели да шипели: «Нам нужен дождик для грибов, нам нужен дождь холсты белить».

Солнцу не было приятно на старых глядеть, оно и по вернуло на уход. А по зиме и вовсе мало показыват себя: у нас те дни, в кои солнце светит, шчитаны. Мы шчитам да по шчету тому о лете соображам, как будет. Зима — пора старушья. Прядут да ткут и сплетни плетут.

Хороши невесты черноволосы, черноглазы — глядишь не наглядишься, любиешься не налюбуйешься, смотришь не насмотришься. А вот на картинах, на картинках... Как запонадобится художнику изобразить красавицу из красавиц, саму распрекрасну, ее обязательно светловолосую, и глаза показывают не ночь темну, а светел день солнечной.

Это я просто так, не в упрек другим, не к тому, что наши северянки краше всех. Я

только то скажу: куда ни хожу, куда ни гляжу, а для нашего глазу наших краше не видывал, опричь тех, что на картинах Вене рами прозываются, — те на наших порато схожи.

Теперь-то и моя жона поубегалась, с виду слиняла, с тела спала. А оденется — выйдет алой зоренькой, пройдет светлым солнышком, ввечеру ясным меся цем прокатится. Да не одна она, я не на одну и люблюсь.

## Лень да Отеть

Жили были Лень да Отеть.

Про Лень все знают: кто от других слышал, кто встречался, кто и знает, и дружбу ведет. Лень — она прилипчива: в ногах путается, руки связывает, а если голову обхватит, спать повалит.

Отеть Лени ленивей была.

День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало.

Лежали под яблоней Лень да Отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лень и говорит:

— Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе говорить-то не лень?

Упали яблоки Лени и Отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отеть говорит:

— Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?

Надвинулась темна туча, молнья ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем. Жарко стало.

Лень и говорит:

— Отеть, сшевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся.

Стала Лень чуть шевелить себя, далекомко сшевелилась.

Отеть говорит:

— Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?

Так Отеть голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска, лоскутка. А как лень изживем — счастливо заживем.

## Сплю у моря

*Анне  
Константиновне  
Покровской*

День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — деревья мешают, как повернешься, так в пень али во ствол упруешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — то же спанье не всласть. Кусты да бугры помеха больша. Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонькой. Берег скатывается отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!

Под голову подушкой камень положил, один на двух подушках не сплю, пуховых не терплю, жидкими кажут. На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.

Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полную меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.

И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидат.

Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.

Сплю, как спится после большой работы, — сплю молча, без переверта.

Чую, кто-то окутку с меня стягиват. Соображаю во сне: что за забаву нашли отдыху мешать? Я проснул ся вполпросыпа. Глаза приоткрыл и вижу — солнце-то что вздумало?

Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват, ему надо было поглядеть, все ли там в порядке, а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилося за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.

Я за воду, за край ухватился, тут межень прошла; вода прибыла, я море опять на себя натянул, мне по спать надо, я ведь недоспал.

Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.

Старики-говорят: один в поле не воин. Я скажу — один в море не хозяин. Кабы в тогдашнее время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работающим миром подняли бы море краем вверх, поста вили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласье.

Да это еще впереди.

Теперь-то мы сговоримся.

### **Почему много лёту в сказках**

Меня корят да упреками донимают: почему много лёту в сказках? В редкой кто не летает.

А как иначе? Кругом столько лёту: и скоростные самолеты, и на дальность, и высотные, и с большим грузом. Фантазия начинает свое дело полетом. Не мое дело останавливать фантазии полет. Вот направлять полет в како-либо место, которо в памяти болит...